

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Л.Е. Бляхер

Политические мифы прочно вошли в реестр исследовательских объектов политической науки. Уже в работах Э.Кассирера указывается на значимость политической мифологии в управлении современными обществами и, одновременно, на порождаемые этим опасности [Кассирер 1990]. Аналогичная мысль проводится и в трудах С.Московичи: “В цивилизованном обществе... массы возрождают иррациональность, которую считали исчезающей, этот рудимент примитивного общества, полного отсталости и культа богов. Вытесненная из экономики наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на власти и становится ее стержнем. Это явление нарастает... Политика — это рациональная форма использования иррациональной сущности масс” [Московичи 1996: 61].

Именно с таких позиций по большей части и ведется исследование политических мифов. В политическом мифе видят инструмент, позволяющий манипулировать массами, фундамент для выработки идеологии [Мисюрлов 1999; Лобок 1997; Цуладзе 1999]. При этом считается, что, в отличие от своего архаического прародителя, политический миф не возникает естественно, а конструируется, хотя и с ориентацией на “глубинные запросы масс” [Гуггенбюль-Крейг 1997]. Соответственно, он вызывает беспокойство как “препятствие на пути к свободе”, средство закрепощения человека. Отсюда — традиция демифологизации, восходящая к социокритике и воодушевляющая многих современных либералов. Отсюда же и “мифофилия” современных консерваторов, связывающих с мифом надежды на возрождение национальной идеи и национальной идеологии. Не углубляясь в дискуссию о природе и смысле политических мифов, сформулирую лишь несколько тезисов, на которые буду опираться при описании феномена, определяемого как “политическая мифология Дальнего Востока”.

Прежде всего, миф — это *неверифицируемое* знание. Миф предстает истиной просто потому, что он миф. В этом своем качестве он не нуждается в подтверждении чем-либо, кроме себя самого. Точнее, любая наличная реальность интерпретируется в мифологических формах. Миф — принципиально *контрфактическая* структура. Его не компрометирует никакая совокупность фактов, предъявленных индивиду. На этом, в частности, основана устойчивость “ложных” смыслов и механизмов смыслоозначения. Например, образ “добротного царя”, одна из ключевых мифологем российской социальной жизни, отнюдь не разрушается при столкновении с “не очень добрым”. Более того, механизм смыслоозначения сохраняется, даже если указанный образ создать не удастся. По справедливому замечанию Н.Я.Эйдельмана, в подобной ситуации сам “образ” заставляет воспринимать монарха, держателя высшей власти, как “самозванца”, а самозванца — как “добротного царя” [Эйдельман 1991]. С таким положением вещей сталкиваются критики любой мифологемы. Можно сколько угодно долго приводить факты, опровергающие мифологическую конструкцию. Носитель мифологемы способен даже признать истинность этих фактов. Но сами факты им не генерализируются. Спасая свой мир, основанный на мифе, он выдвигает сильнейшую идеализацию: “А почему бы и нет?”

В этом плане миф — не “слово” Р.Барта [Барт 2000], а образец, далеко не всегда артикулируемый напрямую. Достаточно часто миф остается на уровне

БЛЯХЕР Леонид Ефимович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии Хабаровского государственного технического университета, зав. лабораторией ХНЦ ДВО РАН.

смыслового фона, интерпретационного контекста. Наличие такого контекста позволяет группе осуществлять совместную деятельность, несмотря на различия целей и мотивировок. “Конфликт интерпретаций” здесь выносится за рамки коммуникативного акта, не участвует в конструировании общей реальности. Так, миссионерскую деятельность православных священнослужителей среди коренных народов Дальнего Востока не особенно затрудняло то обстоятельство, что легитимные для аборигенов формы группового брака квалифицировались миссионерами как “разврат”, “сожительство братьев с сестрами”. Этот момент просто “опускался” в ходе коммуникации.

Иными словами, миф — это организующее *коммуникацию коллективное* знание, которое обеспечивает совмещение “когнитивных горизонтов” членов группы. Индивидуальные “возможные миры” соединяются в мифе в единую intersубъективную реальность. Между такими “мирами” проводятся “мировые линии”, позволяющие отождествлять предметы и действия в разных “мирах”, вне зависимости от того смысла, который им в этих “мирах” приписывается. Как показал Я.Хинтика, проведение “мировых линий” опирается не на “устойчивые десигнаты языка”, т.е. смысл и логику в их формально-лингвистическом понимании, а на “знание случайных эмпирических фактов” [Hintikka 1967].

Наличие последних — необходимый компонент мифа как семиотического образования. Собственно говоря, данный репрезентант мифа и обозначен Бартом термином “слово”. Но миф не сводится к слову или иному демонстрируемому артефакту. Он представляет собой сложный и целостный смысловой комплекс. Появление одного (демонстрируемого) элемента активизирует в сознании членов группы весь комплекс. Происходит предвосхищение целого через часть. Существование такой целостности создает базу для отделения “своего” пространства от “чужого”, объединяет разнородные элементы в общую сверхсхему, на базе которой и конструируется реальность.

Описанные выше особенности мифа проявляют себя и в политическом пространстве. Подобно любому другому, *политический миф выступает* не столько инструментом манипуляции, сколько *“несущей конструкцией”, задающей параметры отграничения “своего” пространства от чужого, друга от врага*. Ведь чтобы миф мог использоваться в качестве инструмента манипуляции, манипулятор и манипулируемый должны быть включены в разные мифологические системы, ориентироваться на разные мифы. Однако в такой ситуации нет “совмещения горизонтов”, а следовательно — и коммуникации. В лучшем случае у манипулятора может возникнуть *иллюзия*, что он создал некий мифогенный механизм типа “национальной идеи”. Если же управляющий и управляемый находятся в одном мифологическом пространстве, обеспечивающем полноценную коммуникацию, то оно в равной мере детерминирует и первого, и второго, делая невозможной манипуляцию мифом или мифологическим сознанием. Попытка “выйти за миф” будет успешной только при том условии, что она опирается на другой миф. Восставшие английские крестьяне пели: “Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?”. Таким образом, основанием для критики дворянства, власть которого освящалась мифологической традицией, служила иная, более древняя, а потому более значимая мифологема, связанная со Священным Писанием. Но, выйдя “за миф”, человек попадает в *другое* мифологическое пространство. Его действия перестают коррелировать с действиями членов прежней группы. Он оказывается в положении чужака и может управлять лишь посредством силового принуждения. Более того, осмысленные прежде коллективные действия лишаются для него всякой логики, ибо логика этих действий основана на мифе. В результате он утрачивает возможность не только “управлять” (как политик), но и понимать происходящее (как ученый).

Отсюда следует, что политолог, стремящийся постичь структуру политического пространства, конструируемого тем или иным мифологическим сознанием, должен не “разоблачать” мифы, поскольку разоблачения все равно не дойдут до адресата, а описывать их. Но в рассмотренных выше условиях даже эта задача выглядит почти невыполнимой. Если исследователь разделяет политические мифы, то не может их описывать, ибо просто в них живет. Если же он не разделяет их, то они (для него) уже не мифы, а *заблуждения*, “ложное знание” — явление совершенно иной природы. Здесь-то он и начинает видеть манипуляцию, ущемление интересов народа, надругательство над свободой и прочие страшные вещи.

Но на Дальнем Востоке России сложилась уникальная в этом плане ситуация. Мы имеем там *становящееся* политическое пространство на *осваиваемой* территории. В силу своей незавершенности это пространство включает в себя множество разнородных элементов. На протяжении многих столетий в регионе действовал специфический тип организации — *проточная культура*, строящаяся на относительном балансе положительной и отрицательной миграции при слабой сформированности регионального ядра [Бляхер 2004а]. Каждый новый поток переселенцев привносил туда собственные мифологические представления, в чем-то отличавшиеся от представлений предшественников. Особый тип социальных сетей, основанных на витальных ценностях, позволял этим представлениям не вступать в столкновение друг с другом, не переламываться, а сосуществовать. Именно поэтому дальневосточные исследователи, живя в определенном мифологическом (и мифогенном) пространстве, могут осмысливать его, рефлексировать над ним. Дополнительный “избыток видения” [см. Бахтин 1987] обеспечивает им то, что, будучи членами регионального научного сообщества, они обязательно входят во внешний “незримый колледж”. Отождествление с ним и создает почву для анализа.

Иначе говоря, принадлежность к региональному политическому пространству (и соответствующей группе) позволяет дальневосточным ученым понимать смысл коллективных действий, участвовать в них, а включенность во внешнее сообщество — анализировать присущие этому пространству неverified, контрфактические представления. Такой анализ важен не только для постижения политических процессов, происходящих в регионе, но и для уяснения механизмов “работы” политических мифов. Вдохновляясь этими соображениями, я и приступаю к описанию двух наиболее значимых политических мифологем и связанных с ними смысловых комплексов, характерных для населения Дальнего Востока\*.

#### МИФОЛОГЕМА ПЕРВАЯ: БОГАТЫЙ РЕГИОН, ОГРАБЛЕННЫЙ МОСКВОЙ

Рассмотрение этой мифологемы уместно начать с весьма показательной, на мой взгляд, цитаты. В статье с колоритным названием “Сохранит ли Россия Сибирь и Дальний Восток?” губернатор Долгано-Ненецкого автономного округа А.Хлопонин пишет: “Если в европейской части России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, главная составляющая экономической жизни — торговля и финансы, то Сибирь и Дальний Восток производят нефть и газ, никель и медь, золото и металлы платиновой группы, алюминий и электроэнергию, древесину и алмазы, рыбу — продукцию конкурентоспособную, востребованную и в России, и на мировых рынках” [Хлопонин 2001]. Список “благ”

\* Эмпирической базой настоящего исследования послужили материалы региональной прессы Хабаровского и Приморского краев, 20 неформализованных интервью, собранных автором в 2002 — 2004 гг. в г. Хабаровске в ходе реализации проекта “Феномен проточной культуры: механизм образования, структурирования, деградации”, а также данные формализованных опросов, проводившихся в 1999 — 2004 гг. по заказу правительства Хабаровского края.

впечатляет. В него входит практически все, что так или иначе пользуется спросом на мировых рынках. Однако “в тени” остается одно “маленькое” обстоятельство: упомянутые “блага” рассредоточены на гигантской территории, охватывающей две трети всей территории страны. Игнорируется и тот факт, что подавляющее большинство населения региона (до 75%) живет совсем не там, где располагаются эти “блага”, а гораздо южнее. Ибо только здесь на Дальнем Востоке можно жить (относительно) комфортно. Только здесь присутствует (сравнительно) налаженная социальная и транспортная инфраструктура.

“Здесь” — это узкая полоска на верхнем и среднем течении Амура и южная часть Приморского края. “Здесь” расположены крупнейшие города региона — Хабаровск, Владивосток, Находка, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. В этих городах сосредоточены ведущие вузы, больницы, музеи, театры, заводы и т.д. — все то, что делает жизнь жизнью. Те же города “по совместительству” являются транспортными узлами, административными центрами. Население остальной части региона (за исключением Якутии, где сложилась особая ситуация) хотя и проживает в непосредственной близости от перечисленных выше богатств, но именно проживает, а не живет. Более того, в условиях полной неразвитости транспортной системы утилизация этих богатств оказывается проблематичной. “Северный завоз” превращает любую произведенную продукцию действительно в “золотую”, но по себестоимости. Если речь идет о золоте и платине, то территория худо-бедно продолжает существовать (как, например, Аяно-Майский район Хабаровского края), а вот заготовка леса или рыбы вдали от транспортных артерий абсолютно нерентабельна. Так, почти утратил прежнее значение рыболовецкий комплекс Нижнего Амура. Прибрежное рыболовство, некогда давшее толчок развитию района [История 1983], в начале 1990-х годов тихо “скончалось”. То же самое произошло с производством леса в Хабаровском сельском районе с его громадными лесными массивами [Алешко 2001]. Все, что не “здесь”, постепенно становится местом массовой миграции населения. Если с Дальнего Востока люди *уезжают*, то из северной его части они *бегут*.

Миф о “богатом регионе” представляет собой продукт метафорического переноса, развернутую метафору, в которой изначальный смысл русского слова “богатый” перенесен в экономическую плоскость. Этот изначальный смысл, зафиксированный в словарях, связан с идеей “божьего дара”, обильности природных ресурсов, наделенности “чем-то”, совсем не обязательно капиталом [Историко-этимологический словарь 1999]. Подобная трактовка “богатства” всегда сопутствовала освоению Дальнего Востока. Первые землепроходцы шли осваивать “Новую Мангазею”, страну, *богатую* пушниной и “рыбьим зубом”. Столетием позже регион привлекал *богатыми* месторождениями драгоценных металлов. По местным преданиям, в отсутствие свинца переселенцы лили пули из платины. Еще спустя столетие крестьяне отправлялись в край, *богатый* землей [История 1983]. Однако никто никогда не говорил, что едет в *богатый регион*. Регион как раз был *бедным* [Демьяненко 2003], с низкой капитализацией производства, неразвитой транспортной инфраструктурой, редким населением и относительно низкими доходами. Тем не менее, противоречия между “богатством” и “бедностью” в рамках регионального дискурса не возникало. Средством, снимающим его, был другой метафорический перенос. Все феномены, ассоциирующиеся с “бедностью”, обозначались термином “осваиваемый”, активно использовавшимся и в политическом, и в исследовательском, и в повседневном дискурсе [Ишаев 1998]. В результате выстраивалась картина богатого региона, наделенного всеми мыслимыми благами и при этом осваиваемого, т.е. обладающего еще и огромными “потенциальными возможностями” [Песков 2004]. Понятно, что такая “потенциальность” не снижала, а повышала его ценность. Весьма примечатель-

тельно в этом плане, что региональные ученые и политические лидеры всегда крайне неохотно обращались к сопоставлению экономических показателей (доля в общероссийском хозяйстве, в экономике АТР). Здесь мифу трудно ужиться с реалиями. Но стоит сравнить Дальний Восток с... Дальним Востоком, как все становится на свои места “в нашем подлинно богатом регионе”.

И тут мы переходим ко второй стороне рассматриваемой мифологемы — “мифу обиды”. Если мы такие богатые (а то, что мы богатые, сомнений не вызывает), то почему такие бедные? Вероятно, в этом виноват кто-то, находящийся за пределами региона, кто-то чужой. В процитированном выше отрывке этот “чужой” обозначен как *столица*. В столице, в Москве присваивают то, что производит регион, его богатства. Потому-то мы и бедные. Еще отчетливее данный мотив звучит в интервью: “*Вот, квоты на рыбу до сих пор не пришли. Все решают, как их выдавать. А у нас в лимане (Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре — Л.Б.) плавбаза стоит. Без квот, без разрешений. Рыбку сделали и в Москву. Нам одна мелочь остается*” (мужчина, 38 лет, образование высшее, предприниматель). Но обида связана даже не с тем, что “Москва” вылавливает “нашу” рыбу, забирает налоги или что-то еще. Обидно, что она не понимает, насколько значима территория. Нас, дальневосточников, нельзя мерить общей мерой, оценивать по формальным показателям типа ВРП. Ведь в том, что регион развивался так, а не иначе, “виновата” опять-таки “Москва”. По справедливому замечанию М.Кутузова и М.Бариновой, “проблема всех постколониальных территорий в том, что они слишком долго привыкли быть нужными стране как территории размещения военной силы — то ли для обороны от врага, то ли для продолжения дальнейшей экспансии” [Баринова, Кутузов 2001]. Иными словами, мы вас защищали, осваивали регион для России. А сегодня вы решили, что мы обходимся вам слишком дорого, и... бросили. Мотив брошенности активно педалируется в прессе. Спад производства, развал социальной инфраструктуры, “замерзающее” Приморье — все это результат невнимания Центра к Дальнему Востоку. Как показывает контент-анализ газет “Тихоокеанская звезда” (Хабаровск) и “Золотой рог” (Владивосток) за 1999 — 2003 гг., мотивы экономического спада, тяжелой демографической ситуации тесно коррелируют с “обидой на Москву”. В 89% случаев при появлении одного из этих мотивов тут же возникает и другой.

Ощущение брошенности усугубляется в связи с реальной оторванностью жителей Дальнего Востока от европейской части России. Долететь до Москвы примерно в два раза дороже, чем до столиц стран Юго-Восточной Азии, причем стоимость авиабилета в четыре раза превышает месячный прожиточный минимум в регионе. Несколько дешевле железнодорожные билеты. Но и здесь не все просто. Семь дней пребывания в душном вагоне при минимальном сервисе обойдутся дальневосточнику в 2,5-3 прожиточных минимума. Если учесть, что средняя заработная плата в Хабаровском крае чуть выше прожиточного минимума, а доход на душу населения — ниже, поездка в столицу становится малореальной. В итоге сама страна, к которой принадлежит регион, приобретает виртуальный, мифологический характер. О ее проблемах россиянин-дальневосточник узнает из передач центральных теле- и радиоканалов, из газет и рассказов тех немногих счастливых, которым удалось побывать на “большой Земле”. И поскольку “монолитность” СМИ — продукт недавнего времени, облик страны оказался разнородным, размытым. Объединить его элементы в целое, в *Россию*, позволял именно миф. Мифический облик стал единственной реальностью. В рамках этого мифа единый и монолитный Дальний Восток как природная кладовая России, ее суть и соль противостоит “фантомной” Москве, ориентированной “на Запад”, на Европу. Противостояние это отнюдь не воинственное. “Москва” — своя, но она забыла о возло-

женных на нее обязанностях. Ей нужно просто объяснить, насколько значим Дальний Восток для России, как нужно помогать ему, заботиться о нем.

Идее более жесткого противостояния (в форме призывов к воссозданию *Дальневосточной республики*) не удалось стать конструирующим мифом. Миф о ДВР сложился в конце 1980-х — начале 1990-х годов в среде оппозиционно настроенных гуманитариев как квинтэссенция мифа о богатстве региона. Автаркичная, богатая и демократическая Дальневосточная республика постоянно фигурировала в региональной печати первой половины 1990-х годов [Врабий 1994]. Утверждалось, что поскольку “Москва” ответственна за крушение ДВР, то она же должна способствовать ее восстановлению. Впрочем, несмотря на широкую (правда, кратковременную) кампанию в печати, этот миф так и остался на периферии общественного сознания. Причины тут три. Первая и наиболее явная заключается в том, что мотив обращения к теме ДВР был слишком очевиден — торг с Центром: “Если России нужен Дальний Восток, у него должно быть гораздо больше прав и возможностей. Ни о каком ‘равенстве’ с метрополией речи быть не может” [Власов 1994].

Вторая причина — своеобразие заселения региона в XX в. Если в XVII — XIX вв. Дальний Восток манил к себе “мягкой рухлядью”, серебром и золотом, а также “свободными землями”, то с конца XIX столетия сюда начали направляться организованные переселенческие потоки. Крестьяне-новоселы, рабочие приисков, строители Транссиба и КВЖД ехали не по зову души, а по приказу. Естественно, что как только ситуация менялась, столь же многочисленный, хотя и менее организованный, поток переселенцев двигался в противоположную сторону [История 1983]. Возвращались не только рабочие, нанятые на сезон, но и предприниматели, заработавшие свои миллионы и устремившиеся туда, где их можно потратить. В советские годы такие встречные потоки стали “нормой жизни” на Дальнем Востоке. Строители “Города-на-заре”, оборонных заводов Хабаровска, Байкало-Амурской магистрали не столько переселялись, сколько *протекали* по региону. В большинстве своем они приезжали строить, работать, но не жить. Убыль трудовых ресурсов компенсировали новые оргнаборы. Согласно опросу, проведенному автором этих строк в г. Хабаровске\*, к середине 1990-х годов только половина жителей региона родилась на его территории, и лишь менее трети респондентов могли назвать три поколения предков-дальневосточников. Более того, 80% опрошенных связывали будущую карьеру с отъездом из региона. Очевидно, что для них ДВР — не живой образ, а некая абстракция, умозрительная конструкция, отдаляющая их от воссоединения с желанной Родиной. Можно попенять матери, забывшей о своих детях-дальневосточниках, но отделяться... Идея самостоятельной республики не была поддержана ни населением, ни региональными властями.

Наконец, третья причина — специфика самого дальневосточного “единства”. У каждого из субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), своя социально-экономическая и политическая ситуация, свои претензии на лидерство, своя система международных связей. Общего у них лишь характер заселения и порожденные им социально-демографические проблемы да обида на “Москву”. Поэтому единство возникает исключительно “против”. Как только заходит речь о самостоятельности, все противоречия между дальневосточными территориями немедленно актуализируются. Таким образом, оставаясь важным смысловым комплексом в политическом сознании дальневосточников, “обида на Москву” не сопряжена с активными действиями по отношению к “обидчику”. Вместе с тем без учета этого фактора невозможно понять ни высо-

\* Опрос проводился при поддержке Московского общественного научного фонда (грант “Начальные условия кризисного стратообразования”, 1996).

кий процент протестного голосования на выборах, ни воинственные заявления местных лидеров (при крайне осторожной внутривластной стратегии).

На протяжении многих столетий важнейшей функцией местных лидеров была *защита сообщества от властного воздействия Центра*. Вследствие огромных расстояний, специфического характера расселения и хозяйствования распорядка и указы, идущие из Центра, имели довольно слабое отношение к реальным социально-политическим процессам в регионе. Весьма показательны в этом плане “Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях” от 26 марта 1861 г. [Унтербергер 1900], предусматривавшие продажу земель Кабинета Его Императорского Величества как средство решения “земельного вопроса”. Подобная установка, вполне разумная в условиях европейской России с присущим той земельным голодом, оказывалась заведомо бессмысленной на Дальнем Востоке, где существовали огромные массивы свободных земель и господствовало “захватное право” землепользования. Предложение “земли и воли” просто не могло встретить понимания там, где и того, и другого было в избытке.

Столь же мало отвечали дальневосточными реалиями “Городовое положение” и судебная реформа, так и не нашедшие себе места на Дальнем Востоке вплоть до начала XX в. [Кабузан 1985]. Редкое население и сильнейшие местные связи вели к господству “обычного права”, которое не только не нуждалось в формализованных уложениях, но и разрушалось ими. Привычные формы общежития поддерживала особая социальная структура, позволявшая, не противореча столичным указам и распоряжениям, реализовывать принятые на территории нормы социального взаимодействия. Предпосылкой служило то обстоятельство, что властно-административные и экономические ресурсы в регионе никогда не были сосредоточены в одних руках. Власть местной администрации всегда “уравновешивалась” властью руководителей крупнейшего предприятия, непосредственно подчинявшегося столице. Так было в Нерчинске в XVII в., в Охотске времен “Камчатских экспедиций” и освоения Аляски, в Комсомольске-на-Амуре в XX в. и т.д.

Аналогичное двоевластие существовало и в Уральском регионе [Luchterhandt et al. 1999]. Но если там оно способствовало укоренению формальных норм, то на Дальнем Востоке ситуация складывалась иначе. На Урале обе власти были автономны и самодостаточны, тогда как на Дальнем Востоке каждая из них нуждалась в партнере. Территориальная и заводская администрации не могли обойтись друг без друга. Чтобы быть прочной, региональная власть должна была опираться на руководство структурообразующего предприятия, откуда она черпала “внебюджетные” средства, позволявшие сглаживать последствия очередного “мудрого решения” Центра, смягчать социальные противоречия внутри сообщества, а также решать личные материальные и карьерные проблемы. Однако и руководство крупнейших предприятий могло рассчитывать на успех только в том случае, если его безоговорочно поддерживала местная власть. Как показывает анализ исторических документов [Кабузан 1985], задачи, которые ставились перед предприятиями, зачастую мало соотносились с реальностью. Вспомним упорное желание царского правительства завести на Камчатке пшеничные поля или сроки сдачи оборонных заводов в Комсомольске-на-Амуре в советские годы. Огромные расходы на жизнеобеспечение (местное выражение — “бюджет горит в топках”), высокие транспортные тарифы, отсутствие инфраструктуры делали производство в регионе малорентабельным. Дабы свести концы с концами, не входя в противоречие с общей идеологической установкой, директорату, предпринимателям постоянно приходилось идти на ухищрения. Фабричные лавки с высокими ценами за недоброкачественный товар, недоплата налогов, укрытие части произведенного продукта были

не изобретением постсоветского периода, а нормой экономической жизни Дальнего Востока [см., напр. Унтербергер 1900]. Естественно, что “прикрыть” эти нарушения могло лишь властное лицо. Сами же властные лица лучше далекого центрального правительства понимали, что выполнение промышленниками всех предписаний неминуемо повлечет за собой крах предприятия.

Наличие столь острой взаимозависимости привело к формированию сети, в рамках которой происходил интенсивный обмен силовыми, символическими и материальными благами. При этом персональный состав сети значения не имел. Точнее, он не имел определяющего значения. В сетевое взаимодействие включались не персоналии, а функции, ибо только путем обмена последними обретали целостность и власть, и хозяйствующие субъекты. Правовая, формально-властная структура выступала одним из элементов сети, одним из видов ресурса и одним из источников риска. В этих условиях бизнес и власть были неразделимы. Неудивительно, что крупнейшими представителями дальневосточной буржуазии в начале XX в. были люди, связанные с властью, с казенными заказами и подрядами (А.Бонди, Л.Скидельский, С.Шестаков и др.) [Асланханов 1963]. Очевидно, что в подобной ситуации властная фигура в кратчайшие сроки превращалась из “государева ока” в лидера местного сообщества. Лишь таким образом можно было успешно осуществлять административное управление территорией.

В качестве лидера местного сообщества чиновник должен был выполнять функции “отца и заступника” перед центральной властью. Прослеживается четкая закономерность — чем лучше дальневосточный губернатор (будь то в РФ или, ранее, в Российской Империи) выглядит в глазах Центра, тем ниже его популярность среди населения. Вне зависимости от своей реальной позиции, региональный лидер вынужден выказывать оппозиционность по отношению к Москве. В противном случае он имеет все шансы превратиться в номинальную фигуру. Не случайно большинство креатур Представителя Президента в ДВФО потерпели провал на региональных выборах. Между тем губернатор Приморского края Е.Наздратенко, несмотря на постоянные отключения света и тепла во Владивостоке во второй половине 1990-х годов, продолжал пользоваться поддержкой населения. Причем чем негативнее относился к нему Центр, тем выше были его акции “на местах”. Не менее яркие примеры дает и история. В 1819 г. в ходе проверки дел генерал-губернатора Сибири И.Б.Пестеля было выявлено 700 чиновников (т.е. около 65% высшего звена управления регионом), замешанных в коррупции. Под судом оказались 48 человек. А более 500 сохранили свои места. Примечательно, что во многих случаях за них вступались именно “притеснявшиеся” [Кабузан 1985]. Они были “свои”.

Но дальневосточный лидер должен защищать местное сообщество не только от “Москвы”. Другая важнейшая его функция — защита региона от “Азии”, от “желтой угрозы”. “Желтая угроза” — один из наиболее значимых политических мифов на Дальнем Востоке. Рассмотрим его подробнее.

#### **МИФОЛОГЕМА ВТОРАЯ: ЖЕЛТАЯ УГРОЗА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ**

Модная в 1990-е годы теория “столкновения цивилизаций”, нашедшая немало сторонников среди отечественных политологов, получила своеобразное выражение в дальневосточных регионах России. В странах Запада идея “конфликта цивилизаций” явилась результатом сложных интеллектуальных построений и журналистских спекуляций и была воспринята массовым сознанием только после бомбардировок Югославии и терактов 11 сентября 2001 г. На Дальнем Востоке она присутствовала изначально, с момента освоения русскими Приамурья в XVII в.

Албазинская осада и Нерчинский мирный договор (а по существу — капитуляция), русско-японская война и блокада Владивостока, интервенция, резня



в Хабаровске и гибель Николаевска в послереволюционные годы — все это способствовало тому, что жители региона ощущали себя гарнизоном осажденной крепости. Если в досоветскую эпоху подобное “гарнизонное сознание” отражало неустойчивость российских позиций на “новых землях”, то в советский период оно оказалось квинтэссенцией идеологии “враждебного окружения”. Япония и позднее Китай стали “вероятными противниками”, а Дальний Восток — “передовой”, “первым рубежом обороны” России, форпостом на пути потенциальных захватчиков. Под эту идеологию подстраивалась экономика страны, и в первую очередь — Дальнего Востока. Основные предприятия Хабаровского края так или иначе работали “на оборону”. Добывающая промышленность и сельское хозяйство играли подчиненную роль. Они должны были “кормить и снабжать” военные заводы и самих военнослужащих, численность которых (с учетом солдат и матросов срочной службы) была сопоставима с численностью остального населения региона. Как мне уже приходилось писать раньше [см. Бляхер 2004а], каждый следующий поток переселенцев обладал более высоким статусом, чем предыдущий. Потoki второй половины XX в. были ориентированы на ВПК, на армию, а тем самым — на самосознание форпоста.

С наступлением эры “нового мышления” и смягчением противостояния времен “холодной войны” такое самосознание, казалось бы, должно было ослабнуть. Но этого не произошло. Скорее, наоборот. Вопреки явной заинтересованности России в союзе с Китаем [см. Цымбурский 2000] воинственность заявлений региональных лидеров продолжала нарастать. Мотив, акцентируемый в региональной прессе и служащий оправданием подобной “воинственности”, — нелегальные китайские мигранты, которые якобы “тайно” захватывают регион, проникая во все поры дальневосточного общества и вытесняя местных работников. Тот факт, что начиная с 1994 г. нелегальная миграция неуклонно снижалась и в 2000 г. нелегалы составляли менее 0,8% от числа въехавших в страну [см. Ларин 2001], никоим образом не изменил восприятия населения. Широкое распространение получило представление о “заговоре” китайцев с целью захвата сопредельных территорий. Проблемы пограничного размежевания превратились в источник иррациональных страхов, подтолкнув власть к новым демонстративным шагам. Одним из таких шагов стало активное храмовое строительство на Большом Уссурийском острове в центре Хабаровска — города со вполне “советским” атеистическим населением и довольно небольшой паствой. Храмы, часовни выполняют здесь не столько религиозную, сколько политическую функцию, свидетельствуя о несомненной русскости “спорных” территорий.

Но у храмового строительства есть еще одна и, возможно, даже более важная функция. Главное не то, что православные храмы видят китайцы, а то, что их видят жители “седьмой столицы” [Бляхер 2004б]. Именно им нужно напомнить об “опасности”, идущей извне, именно они должны ощутить стойкость региональной власти. Еще сильнее подобный настрой ощущается в Сахалинской области, где словосочетание “северные территории” исключено из лексикона даже по отношению к Камчатке или Магаданской области. Столь усиленное муссирование темы угрозы (более 70 упоминаний в газетах “Тихоокеанская звезда” и “Золотой рог” за последние 2 года) невольно наводит на мысль о предельной значимости этой темы для жителей региона. Чем же она обусловлена?

Как уже упоминалось выше, дальневосточное общество традиционно носило *проточный* характер. В течение столетий оно складывалось из переселенческих потоков, сменявших один другой. Каждый из переселенцев приезжал со своей системой норм и правил, со своими культурными установками. Постоянное население региона (те, кто остался от “прошлых” потоков) было слишком невелико, чтобы ассимилировать пришельцев. Но и пришельцы были слишком разнородны, чтобы насадить собственную культуру, собственные нормы пове-

дения. Да и задерживались они в регионе не так уж надолго. Через 20-30 лет менялось приоритетное направление развития, и новый поток переселенцев заменял активно уезжавших “аборигенов”. Очевидно, что в подобной ситуации местная культура просто не успевала сложиться. Инновационный вихрь постоянно разрушал ее. Компенсировала это положение, обеспечивая почву для организации интеракций, особая — *проточная* — культура. Главное предназначение этой культуры заключалось в том, чтобы гасить инновационные вихри и создавать интересную реальность там, где не было культурных условий для ее возникновения. Поскольку проживание в регионе мыслилось как временное, все конфликтующие смыслы, связанные с различиями в субкультурах, откладывались “на потом”. Если же люди все-таки ехали в регион навсегда, то их жизнь осмыслялась как “начатая с чистого листа” [Говорухин 2003].

Однако процент “романтиков”, стремившихся в “новую жизнь”, был невелик. Ехали главным образом не “за туманом”, а за деньгами: за налоговыми льготами — в досоветские годы, за дальневосточными надбавками — в советский период. Новоселы практически сразу же включались в систему сетевого обмена (услугами, ресурсами, деньгами). Будучи основана на обмене витальными ценностями, сеть имела для своих участников и другой смысл. Этот смысл фиксировался в метафоре *сети* (имени сети), чья функция и состояла в отделении “своих” от “чужих”. Сама метафора носила двойственный характер. С одной стороны, она воспроизводила элементы господствующей идеологии, официально навязываемой социальной структуры: общества взаимного кредита, потребительские кооперативы, землячества и т.д. С другой — речь шла не просто о членах землячества, бригады или иной официальной “ячейки общества”, но об участниках сетевого обмена. В этом отношении крайне показателен невероятный по масштабам взлет кооперативного движения на Дальнем Востоке в начале XX в. По данным Э.М.Шагина [Шагин 1974], в кооперативы входило около 45% крестьян Амурской и Приморской губерний. При этом, как отмечает тот же автор, наиболее богатые и наиболее бедные крестьяне не были охвачены кооперативным движением, ибо первые не нуждались в коллективной поддержке, а вторые ничего не могли внести в “общий котел”. Иными словами, дальневосточные сельские кооперативы были не столько формой развития капиталистических отношений в деревне, сколько способом воссоздания крестьянской общины, мира с его взаимовыручкой и круговой порукой. Сходную роль, но уже для элитного слоя дальневосточных губерний, играли различные благотворительные организации. “Новый” чиновник автоматически включался в такую организацию, а тем самым — и в сложившуюся вокруг нее сеть. Аналогичным образом формировались сети и в советский период. Держатель властного ресурса (партийный деятель) выступал в качестве медиатора сети между директором нового строительства и местным сообществом. Номенклатура становилась сетевой структурой. Те же процессы протекали и в низших слоях. Сетевая структура накладывалась на официальную, и поэтому сети оказывались “сквозными”, охватывали всю иерархию дальневосточного социума.

Сетевой характер официальной структуры придавал ей невероятную живучесть\*. Для того чтобы получить доступ к сетевому обмену, новоселы должны были принять метафору, влиться в местную сеть. Влившись, они обретали возможность осуществлять социальную коммуникацию безотносительно к собственным культурным установкам. Но на рубеже 1980-х — 1990-х годов ситуация радикально изменилась. Система льгот для новоселов Дальнего Восто-

\* К примеру, Хабаровск — один из немногих городов России, где день рождения ВЛКСМ является подлинно народным праздником, в котором принимают участие люди самой разных политических и профессиональных ориентаций.

ка рухнула, вернее, реальный объем таких льгот перестал компенсировать сложности проживания. Поездка в регион “за деньгами” утратила былую привлекательность. Одновременно рухнула и идеология, обосновывавшая необходимость проживания в регионе и служившая базой для сетевого взаимодействия. Проточная структура начала распадаться, что привело к актуализации “отложенных” культурных различий. В подобных условиях единственной общей характеристикой, позволяющей организовать коммуникацию, отождествить себя с территорией и территориальным сообществом, оказалось самосознание форпоста. Не случайно при опросе жителей Хабаровска в 1999 г.\* о политическом значении региона говорили именно те, кто не выказывал сильных миграционных настроений. Напротив, лица, обладавшие жесткой установкой на отъезд, вели речь главным образом об отсутствии перспектив, экономическом спаде, бытовой неустроенности.

Вместе с тем, если в 1990-е годы самосознание форпоста Европы в Азии, “русской крепости” преобладало над чувством “обиды на Москву”, то к началу XXI столетия соотношение меняется. И в интервью, и в формализованных опросах явственно проступают негативные коннотации. Особенно сильно ощущаются они в ходе опросов на отдаленных территориях. Так, в Николаевске-на-Амуре “не видят перспективы для жизни в районе” 68% респондентов\*\*. Примерно такие же результаты дал опрос в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Высокий уровень тревожности (неуверенность в будущем) демонстрируют и жители Хабаровска. Если возведение часовни на Большом Уссурийском острове широко освещалось в печати и поддерживалось подавляющим большинством населения Хабаровского края, то дальнейшее храмовое строительство вызывает все возрастающее раздражение, перестает восприниматься как значимый политический акт. Зримым и легко фиксируемым проявлением обиды может служить низкий процент доверяющих федеральным органам власти. “Обида” отражается и на электоральном поведении. Явка на выборы относительно невелика даже в политизированном Владивостоке. Распространенность протестного голосования, поддержка ЛДПР (прежде всего — в “глубинке”) указывают на высокий уровень депривации населения региона. Проточная культура, основанная на мифологических конструктах и официальной идеологии, разрушается. Альтернативные мифы не создаются. По сути дела, единственным мифом, который разделяет большинство дальневосточников, оказался миф о китайской угрозе. Однако этот миф, особенно в сочетании с чувством “обиды” и “брошенности”, не столько консолидирует население региона, сколько оправдывает стремление “вырваться” из него.

Но “смысл” дальневосточных территорий перестает быть понятным не только их жителям. Сворачивание некогда широко разрекламированной в регионе президентской программы “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья” (профинансирована на 10% от плана), нечеткая и непоследовательная политика государства в АТР наталкивают на мысль, что он непонятен и федеральной власти. В отсутствие “образа России” в мире становится неясным и образ ее части. И если “историческая” Россия теоретически может выработать модель автономного существования [Нечаев 1997], то для осваиваемого региона с несложившимся паттерном социально-политического развития это маловероятно. Для формирования собственного образа ему необходим образ целого, ради которого он и осваивается. Поскольку же инновации,

\* N=1074, выборка квотная по отношению к генеральной совокупности — населению г. Хабаровска.

\*\* Случайная выборка, n=350 по отношению к генеральной совокупности — жителям Николаевского района.

в т.ч. политические, всегда приходили на Дальний Восток извне, сегодня регион мучительно ждет решения своей участи, ответа на вопрос: “для чего?”. Чтобы мобилизовать (в шмидтовском смысле) его население и повернуть вспять процесс деградации социальной структуры, требуется создать новый миф, внедрив его в сознание дальневосточников. Основания для этого, пусть пока еще довольно зыбкие, есть. Региональные СМИ, а также связанные с властными структурами ученые все активнее пытаются заменить образ “форпоста” на образ “торговой фактории”. Но особенность политического мифогенеза на российском Дальнем Востоке заключается в том, что миф обретает там статус мифа только в том случае, если он сакрализован центральной властью. Насколько оправданы надежды на такую сакрализацию, покажет ближайшее будущее.

- Алешко В.А. 2001. *Социально-экономическое развитие Хабаровского района*. Хабаровск.
- Асалханов И.А. 1963. *Социально-экономическое развитие Юго-восточной Сибири в XIX веке*. Улан-Удэ.
- Барина М., Кутузов М. Некоторые размышления об очередной попытке дальневосточного прогресса. — <http://povestka.ru/default.asp?id=strategy&idp=9>.
- Барт Р. 2000. *Мифологии*. М.
- Бахтин М.М. 1987. *Эстетика словесного творчества*. М.
- Бляхер Л.Е. 2004а. Потребность в национализме, или национальное самосознание на Дальнем Востоке России. — *Полис*, № 3.
- Бляхер Л.Е. 2004б. Диалог через границу: региональные варианты кросскультурного экономического взаимодействия. — *Вестник Евразии*, № 4.
- Власов Е. 1994. Нужен ли Дальний Восток России? — *Тихоокеанская звезда*, 11.08.
- Врабий А. 1994. Демократическая республика на Дальнем Востоке. — *Тихоокеанская звезда*, 9.08.
- Говорухин Г.Э. 2003. Захват социального пространства. — *Город X: провинциальные города Сибири и Дальнего Востока*. Хабаровск.
- Гуггенбуль-Крейг А. 1997. *Наивные старцы. Анализ современных мифов*. СПб.
- Демьяненко А.Н. 2003. *Территориальная организация хозяйства на Дальнем Востоке России*. Владивосток.
- Историко-этимологический словарь современного русского языка. (В 2-х томах.)* Т. 1. 1999. М.
- История Дальнего Востока СССР: период феодализма и капитализма (XVII в. — февраль 1917 г.)*. 1983. Владивосток.
- Ишаев В.И. 1998. *Особый район России*. Хабаровск.
- Кабузан В.М. 1985. *Дальневосточный край в XVII — начале XX века (1640 — 1917)*. М.
- Кассирер Э. 1990. *Техника современных политических мифов*. М.
- Ларин В. 2001. Посланцы Поднебесной на Дальнем Востоке: ответ алармистам. — *Диалог*, № 2-3.
- Лобок А.М. 1997. *Антропология мифа*. Екатеринбург.
- Мисюрин Д. 1999. *Политика и символы*. М.
- Московичи С. 1996. *Век толп*. М.
- Нечаев В.Д. 1997. Миф провинциальности: содержание и механизмы возникновения. — *Формирование и функции политических мифов в постсоветских обществах*. М.
- Песков В.М. 2004. Российский Дальний Восток в глобализирующемся АТР. — *Социально-политические процессы на Дальнем Востоке России: анализ, регулирование, прогноз*. Хабаровск.
- Унтергербер П.Ф. 1900. *Приамурский край в XIX веке*. СПб.
- Хлопонин А. 2001. Сохранит ли Россия Сибирь и Дальний Восток? — <http://www.mediatext.ru/docs/9928>.
- Цымбурский В.Л. 2000. Россия. — *Земля за великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика*. М.
- Цуладзе А. 1999. *Формирование имиджа политика в России*. М.
- Щагин Э.М. 1974. *Октябрьская революция в деревне восточных окраин*. М.
- Эйдельман Н.Я. 1991. *Твой XVIII век. Прекрасен наш союз*. М.
- Hintikka I. 1967. Possible Worlds and Epistemic Logic. — *Noose*, vol.1.
- Luchterhandt G., Ryschenkow S., Kuzmin A. 1999. *Politik und Kultur in der Russischen Provinz (Hauptstadte der russischen Provinz: Geschichte, Politik, Kultur in Nowgorod, Woronesch, Saratow und Jekaterinburg)*. Bremen.